

АННЕТ БОВЕ

---

# Недосыгаемая

СБОРНИК



Аннет Бове

**Недосягаемая. Сборник**

«Издательские решения»

**Бове А.**

Недосягаемая. Сборник / А. Бове — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966200-2

В сборник вошли: роман «Завещание Мишель», пронизанный легкой иронией и грустью, с которыми описывается внутренний мир писателя, изолированный от обывательского вторжения; трилогия «Море у порога», покоряющая искренностью, драматизмом, неистребимой верой в жизнь и в силу человеческого самопреодоления; и рассказ «Недосягаемая», давший название всему сборнику, в котором присутствуют ноты мистического реализма, являющегося неотъемлемой частью стиля этой подающей большие надежды писательницы.

ISBN 978-5-44-966200-2

© Бове А.

© Издательские решения

## Содержание

ЗАВЕЩАНИЕ МИШЕЛЬ	6
Глава Первая	6
Глава Вторая	9
Глава Третья	14
Глава Четвертая	22
Глава Пятая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Недосягаемая Сборник

**Аннет Бове**

*Моей единственной любви посвящается...*

© Аннет Бове, 2019

ISBN 978-5-4496-6200-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# ЗАВЕЩАНИЕ МИШЕЛЬ

## Глава Первая

Тихий, ленивый ветер теребил покрытый нежно-рыжей ржавчиной флюгер; крадучись, скользил по кожаной спортивной куртке; щекотал уголки рта, игриво подергивал за усы, касался длинных, чуть седеющих волос, то и дело, передвигая их по плечам; при этом не забывал ворочать с боку на бок желтеющие листья, которыми был усыпан тротуар, в тщетных попытках поджарить их до хрустящей корочки на остывающей сковородке закатного сентябрьского солнца.

Удивительно для этой, обычно совершенно пустынной улицы, но места для парковки не было. Разномастность автомобилей, занимавших все свободные ниши, казалось, говорила о том, что обитатели самых разных по экономическому благосостоянию уголков города, но объединенные единым гражданским духом, съехались на всеобщие выборы или на концерт поп-звезды. Хотя какой может быть концерт в зоне частных коттеджей? Единственное место «для инвалидов», расположенное возле небольшого кафе с вымытыми до блеска оконными стеклами, тоже было занято.

– Надо будет проверить, что там за инвалид припарковался, – прошипел себе под нос водитель невзрачного автомобиля с поволокой дорожной пыли по всему кузову, и остановился посреди проезжей части, чуть ближе к обочине. Включил аварийные огни, не без труда извлек свое располневшее тело наружу и, поигрывая связкой ключей, медленно двинулся в сторону дома, неподалеку от которого застыла неподвижная фигура.

Майкл стоял в нерешительности, почти не двигался, запустив руки глубоко в карманы потертых джинсовых брюк. Втянув голову в плечи, прикрыв глаза и стараясь не думать ни о чем значительном, он продолжал беззвучную беседу с ветром. Даже с закрытыми глазами и на приличном расстоянии от дома он слышал, видел или чувствовал, как в комнате наверху хлопала створка форточки, то проглатывая, то выплевывая легкую прозрачную занавеску, голубую в бледно-синюю точку. Сквозняк ворошил мех на спине медведя, вот уже лет двадцать покорно лежавшего у камина в гостиной. От входной двери, в прихожей и по всему коридору тянулись спутанные следы обувных протекторов. Конечно же, нет никаких сомнений, что они пришли в дождь, не заботясь о чистоте подошв, замазывая комьями липкой рыжей глины неистребимый, казалось бы, уют этого гнездышка. Но сейчас там было пусто. Чего-то не стало, и Майкл, безусловно, понимал, в чем причина хрипло сипящей в ушах, холодящей кончики пальцев, не позволяющей открыть глаза или сделать какое бы то ни было движение, тихой безысходности.

Всего пару часов назад (в недостаточно проветренной кухне все еще витал запах ядреного табаку и дух дешевого одеколона общего пользования, стоящего в мужском туалете ближайшего полицейского участка), посторонние, безразличные люди выполняли здесь свою привычную работу. Ходили по смиренному, молчаливому медведю, пугая его вспышкой фотоаппарата, вытряхивали остатки еды из мусорного ведра у раковины на кухне и в ванной на втором этаже, прикладывали нежный чувствительный пластик к краям чашек и столовых приборов, ворошили личные вещи; позевывая, выдвигали ящики письменного стола в осиротевшем, выставшем кабинете. Чьи-то руки в перчатках втискивали в специальный полиэтиленовый конверт лежавшую на кухонном столе рукопись, перетянутую прочной зеленой тесьмой. Вряд ли хозяин этих рук удосужился заглянуть внутрь печатных листов. В лучшем случае он мельком пробежался по названию. «Завещание Мишель», под ним надпись: «Моей единственной любви посвящается».

Пришельцы топтались вокруг, перекидывались шутками, обсуждали съеденное на обед, ковыряясь в зубах, без конца перешагивая через коричневое пятно на кухонном полу, обходя очерченный мелом силуэт. Вероятно, они пригласили понятых. Майкл с отвращением представлял, как любопытные соседи или просто случайные прохожие округлили глаза от слишком наигранного страха и едва скрываемого удовольствия, как они пожирали взглядом тело в застывшей бурой жиже, впитывая в себя детали, запахи, звуки, скандальность произошедшего. Уже в тот момент каждый из этих обывателей, чья жизнь теперь встряхнулась, обрела смысл, жадно предвкушал, как будет щеголять на многочисленных попойках внезапно нагрянувшим участием в жутко таинственной истории. Счастливики, они станут душой любой компании в этом провинциальном городке, им теперь будет, о чем рассказывать внукам. Понятые, исполненные значимостью момента, стояли в прихожей, заранее самодовольно наслаждались ожидающим их в бильярдных залах и пабах успехом рассказчиков.

Но рано или поздно все стихло. Дверь опечатали, и значительное пространство вокруг порога было затянуто празднично-желтой, видной издалека, ограничительной лентой. Она безвольно шлепалась о забор, через щель в котором торчала любопытствующая морда огромного пожилого пса. На пороге соседнего дома стоял тоже выдавший виды хозяин собаки, неловко теребя в руке отстегнутый поводок. Он слегка похлопал себя по бедру, стараясь не привлекать внимания Майкла и другого человека подозрительно знакомой внешности, подходившего к Майклу сзади прямо в этот момент. Пес не отзывался. Хозяин тихо свистнул. Пес вскинул уши, вынул морду из проема в заборе и повернул ее на звук. Хозяин подавал ему знаки, эмоционально шевелил седеющей бровью, беззвучно, но многозначительно призывая питомца. Пес нехотя побрел назад и смиренно подставил загривок под ошейник.

– Говорят, преступник всегда возвращается на место преступления, – услышал Майкл голос у себя за спиной.

– Да, – машинально ответил он, не в силах повернуть головы, – так говорят.

Оба замолчали. Майкл даже не думал продолжать беседу, и уж тем более оправдываться. Его в каком-то смысле даже забавляла мысль о том, что человек, стоящий за спиной, пытается так грубо и прямолинейно взволновать его подобным намеком. Майклу казалось, что он сейчас внутри большого мыльного пузыря, висит в самом его центре, как в безвоздушном пространстве, бестелесный, но невероятно тяжелый, как что-то умершее безвозвратно. Его угнетало это несоответствие между кажущейся легкостью, хрупкостью, прозрачностью и той силой, с которой стенки пузыря давят на мозг, уменьшая обитаемое пространство и количество кислорода, деформируя черный смоляной комок, которым был Майкл.

Пространство звенит, вибрирует, выгибается, как гигантская пластиковая линейка, плавающая на огне свечи, не способная больше ни лопнуть посередине, ни распрямиться со всей накопленной силой, распоров время вокруг себя.

«– Ты спишь? – шепчет кто-то в самое ухо, но будто издалека.

– Не знаю, не знаю, – отвечаешь ты, не понимая, произносишь ли ты эти слова вслух, или они застряли в запечатанных, примерзших к пространству губах. – Скорее, да, чем нет».

Оконные рамы, дверной проем, колья забора, телеграфные столбы, выхлопные трубы – все сжималось, уплотнялось, потом снова разбухало, ширилось, превращаясь в тошнотворную бесформенную муть, едва сохраняя намек на прежнюю округлость или прямолинейность. Так в замедленной съемке дрожит перекладина, слишком высоко поднятая рекордная планка, задевая амбициозным прыгуном, готовая вот-вот соскользнуть вниз и убить надежды. Так трепещут крылья стрекозы, создавая парадоксальный визуальный эффект абсолютного отсутствия движения, в то время, как в действительности частота взмахов настолько велика, что не улавливается глазом.

Привычные звуки, нарушая все мыслимые фундаментальные законы, выходили за рамки установленных диапазонов. Комариный назойливый визг мог превратиться в раскаты грома, удары колокола весом в несколько десятков тонн – в свистящий, упругий ультразвук.

Всё казалось нейтральным. Не за что было зацепиться, чтобы ощутить разницу. Ещё немного, и можно было соскользнуть, перестать отличать шорох ветра в кучке опавшей листвы от шумящей в душевой кабинке воды или от шипящих в раскаленном масле бараньих ребрышек. Все труднее было понять, пахнет миазмами или медом, хлоркой или ликером, настоящим на травах. Вокруг студенистая, безвкусная, прозрачно-молочная иллюзия, в которой невозможно ни дышать, ни думать. Желе проникало в уши, в нос, забивало рот, склеивало пальцы. Пробиралось в желудок и легкие, медленными толчками продвигалось по артериям. Все ближе, ближе.

За спиной Майкла стоял детектив Трувер, сопел, дымил сигарой, сжав в кулаке ключи, мешая их звону смешиваться с ненавязчивым посвистыванием ветра.

Майкл не думал о его присутствии – сознание учитывало его, но не предлагало никаких соответствующих подобной встрече действий, поскольку в этот момент Майкл находился далеко отсюда – не в пространстве, но во времени.

## Глава Вторая

Когда-то в юности они говорили о параллельных мирах, мечтали о других, счастливых пространствах, спорили о Боге. Что Он такое, если Он вообще существует. Одногодки, они шагали в ногу или почти в ногу. Если один спотыкался, другой помогал подняться, но чаще из солидарности падал рядом, превращая возможную трагедию в фарс. И боль утихала, просеянная сквозь смех.

Будучи убежденными индивидуалистами, обаятельными в своей юношеской категоричности, они, тем не менее, подражали друг другу, не осознавая того. Ошибочно полагали, что идеален не ты сам, а твой приятель, который для тебя – всё. Возможно, в этом была какая-то логика, но отсутствовало понимание того, что, лишь оставаясь самими собой, можно было дополнять друг друга. Притяжение противоположностей. Это не требовало похожести на объект обожания, достаточно было сохранять собственную индивидуальность, но, не ограничивать её, а оставлять размытые, чуть близорукие, границы, чтобы всегда иметь возможность впустить нечто, чего тебе не хватало, но что ты открывал в другом человеке. Молодость, вопиющая о своем страстном желании красок и их смешения, не способна порой рассуждать за рамками черного и белого. Оставаясь внутренне относительно неизменными, потому что природу оспаривать сложно и даже опасно, они перенимали внешние повадки, жесты, манеру одеваться. Конечно, не у всех, а только у тех, кто имел на них влияние, кто был авторитетом, к чьему мнению они, так или иначе, прислушивались. Если бы кто-то им тогда сказал, что они занимают подражанием, становятся похожими на своих вымышленных или реальных кумиров, они бы бросились на этого человека с кулаками. Да, Антон отчасти хотел походить на Майкла, потому что первому не хватало простоты второго, легкого взгляда на вещи и события, отсутствия мнительности. Нет, Антон ни в коем случае не считал восприятие жизни Майкла поверхностным, это был лишь модный тогда налет безразличия, нигилизма. Антон знал, что за всей этой игрой форм и оболочек скрывается тонко чувствующий, ищущий дух, как и в нем самом. Самого себя он считал занудой, моралистом, а вот Майклу удавалось о тех же серьезных вещах и понятиях рассуждать без ложного пафоса. Он умел балансировать на той грани, когда через легкое отрицание морали и справедливости, через некую насмешку над человеческими ценностями происходил обратный эффект – ценности утверждались с ещё большей силой. Нотации же Антона лишь отталкивали, настораживали или, в лучшем случае, вызывали небрежную снисходительную улыбку.

Но многие моменты этой мальчишеской игры во взаимную мимику, как понял Антон только спустя годы, заключались более во внешнем, нежели во внутреннем. Антон гонял на шумном мотоцикле, таскал основательно входившие в моду джинсы и застиранные футболки, анархично встряхивал копной плохо промытых волос. На самом же деле ему хотелось надеть длинное элегантное пальто или плащ, взять в руки трость с набалдашником из слоновьей кости, сделать взрослую, правильную стрижку и с затаенной мудростью смотреть на мир из-под широкополой шляпы. С Майклом происходило обратное: обожая простую одежду, он использовал аксессуары, по духу более подходившие духу Антону, хотя всё его существо задыхалось, мечтало сорвать с шеи галстук, одичать, хулиганить и балагурить. Это был добровольный взаимный самообман, или просто некое родство.

Майкл искренне завидовал начитанности Антона, его бурному литературному воображению, хотя сам Антон никогда не придавал этому особого значения, потому что в свою очередь мечтал избавиться от громоздких рассуждений, от собственной назойливости в глазах окружающих. И чем больше Антон работал над стилем, тем менее он его удовлетворял. Никто не любил перфекционистов, потому что рядом с ними многие казались себе недоделанными, слишком неправильными, чересчур грешными, с отчетливо выпяченным несовершен-

ством и, более того, с откровенным нежеланием это несовершенство как-то побороть. Если бы не зануда-перфекционист, то люди бы и не думали, что с этими милыми недостатками вообще нужно как-то бороться. Тем более Антону вовсе не хотелось, чтобы Майкл скучал в его обществе. Антон искусственно старался всё упростить, облегчить, осветлить, очистить от морализма, возможно, неосознанно теряя при этом что-то очень важное, сущностное, часть себя.

Антон с Майклом мало интересовались тем, что говорят и думают окружающие, потому что эти отношения им самим казались идеальным примером дружеского союза, гармоничного, нерасторжимого. Они свято верили в понятия о взаимообогащении, которые, время спустя, сами же назовут ложными. Да, безусловно, они друг друга дополняли, но сами стремления были неправдоподобными, слишком запутанными, витиеватыми, чтобы претендовать на истинность. Пытаясь перенять друг у друга, как им казалось, лучшее, они теряли сермяжную часть себя, и, увы, теряли друг друга. Они впивались крепкими, цепкими пальцами один в другого, но, как оказалось, лишь за тем, чтобы, разодрать добытое на куски, растащить по углам, разменять, делаясь с каждым днем все более уязвимыми, почти ущербными... и одинокими.

Кроме того, в своем подражании Антону Майкл довольно быстро преуспел. Антон не мог с этим мириться. Он видел в Майкле собственные качества, иногда положительные, но чаще отрицательные, и постепенно друг переставал быть желанным объектом подражания, потому что Антон уже не находил в нем того, к чему с такой страстью стремился прежде. Ему всё чаще казалось, что, общаясь с Майклом, он будто отражается в зеркале со всеми своими недостатками. Худшей пытки он бы придумать не мог.

Антон был достаточно рассудителен, чтобы не делать однозначных выводов, но он предполагал, что все эти годы друг испытывал сходные чувства. Но Майкла спасал тот факт, что он не был таким мнительным самоедом, скорпионом, пожирателем самого себя, не копался, не философствовал. Была ли жизнь Антона насыщеннее от того, что он много слишком думал по каждому пустяку? Нельзя утверждать с уверенностью. Майкл, не смотря на кажущуюся легкомысленность, вкушал жизнь глубже, естественнее, до корня. Не то, чтобы он не думал вовсе, просто не был склонен к депрессивным, часто беспричинным, состояниям тоски. Просто жил. Антону хотелось бы, чтобы друг его жил вечно, чтобы всегда оставался только самим собой. И он нашел способ, возможно, такой же зигзагообразный, как и его писательское сознание, но тут уж поделаться нечего – он не смог бы писать красками, которых не было в его палитре.

Принятое однажды решение двигало Антона к намеченной цели. Он без устали записывал все свои рассуждения, когда и как придется. «Вот это умение или, скорее, желание Майкла говорить, болтать по пустякам» – думал он, – «Исключает ли оно способность глубоко мыслить, рассуждать, обобщать, делать выводы?» Да, наверное, Майкл часто говорил о всякой житейской ерунде, но, Боже, как же иногда хотелось Антону вставлять эту болтовню в сухие диалоги его книжных персонажей, чтобы оживить их, придать им динамики, приправы, щекочущей нервные окончания. Майкл всегда утрачивал интерес к философским беседам где-то между салатом и горячим. Казалось, он слушает тебя, прищурившись, проникая в твои тайные мысли, а потом вдруг отпустит плоскую шуточку на счет внешности официантки. На каком этапе прерывалась цепочка мыслительного процесса? Когда, в какой момент расставлялись акценты, меняющие жанр пьесы под названием жизнь? Два творческих человека (Антон всегда знал, что Майкл – натура более творческая, чем он сам) думают об одном и том же яблоке, лежащем перед ними в вазе для фруктов. Почему один из них берет за кисть, а другой за авторучку? Какими категориями мыслит каждый из них? Допустим, один вспомнил детство, соседский сад, куда ребенком забирался, чтобы надкусывать недозрелые плоды. Другой, возможно, вернулся внутренним взором в прошлую ночь, когда перекатывал краснобокое яблоко по обнаженному телу возлюбленной. Да мало ли что может вспомниться. Вопрос в том, почему каждый из них прибегает к разному языку? На пути от рождения мысли, оформления ее в некий образ до выбора способа внешнего выражения есть какой-то рычаг, кнопка, какой-то стрелоч-

ник, распределяющий потоки. Или изначальный момент возникновения идеи уже имеет аутентичную форму, соответствующую ментальным способностям индивидуума? Антон мог часами рассуждать о живописи, находя сотни неповторяющихся синонимов. Почему этого зачастую не умеет сделать сам художник? И почему этот же бессловесный художник, дюжиной движений кисти замарав холст, скажет зрителю гораздо больше, чем писатель, без умолку заполняющий словами лист бумаги? Антону хотелось бы взять карандаш и нарисовать яблоко, но он почему-то начинал его описывать. Возможно ли, рассказав человеку лишь на словах о картине Мунка, донести до него ощущение того, как маслянисто раскрашенные спагетти нервов вращаются, наматываясь на вилку; как душераздирающий крик создает энергетическую воронку, черную дыру, в которую вот-вот перетечет кроваво-красное небо, дорога с двумя тщетно сопротивляющимися силе этого притяжения пешеходами, да и сам кричащий скоро окажется внутри собственного отчаяния, без остатка поглощенный им? От кого это зависит: от рассказчика (писателя) или от слушателя (читателя)? Третьего, наверное, не дано. Ведь Мунк явно не пожелал бы, чтобы о его работах судили, не увидев их воочию. Тогда кто ответственен в этом диалоге за точность создаваемого образа? И что будет причиной несоответствия: недостаточная изобразительность словесного языка автора или слабые имагинативные способности читателя?

Эти мысли, как и многие другие, кольцами обвивались вокруг шеи, не давая дышать. Порой он не мог проконтролировать, в какой момент они начинали пульсировать где-то чуть левее основания черепной коробки, сдавливая ее. По всему дому он выключал раздражавший его свет, не мог слушать музыку, хотя обычно под нее хорошо работалось; перетягивал голову мокрым полотенцем, горстями глотал анальгетики, накладывал лед на пытающийся вывалиться наружу глаз. Лед таял и стекал за шиворот. Прижимал к скуле холодную бутылку белого вина, массируя шею и левую часть головы. Мало что помогало. Антон не спал сутками, всю ночь мог простоять у окна, прижавшись к нему лбом с такой силой, что чуть не выдавливал стекло. Часто под утро обнаруживал несколько десятков листов бумаги на рабочем столе, не помня, когда и как он умудрился что-то на них написать. Мигрень, вероятно, сама бралась за авторучку и только после этого отступала.

\* \* \*

Бессмысленными были бы попытки докопаться до сути истории, которая еще даже не начата. Возможно, вышеизложенные рассуждения и вообще не имеют отношения к событиям, которые автор хотел бы описать в своей книге. Мысль неуловима, скачет с куста на куст, по нотному стану, создавая невосполнимые никаким голосовым диапазоном музыкальные интервалы. Ведь речь не об авторе книги, а скорее об авторе, как таковом.

В общем-то, если не начать сейчас, то потом будет совсем поздно и скучно.

Так вот. Что можно было бы сказать о городе, в котором жили Майкл с Антоном? В общем-то, городишка, пусть не крохотный, но и названия-то мог бы не иметь. Даже если название когда-то и было, то, скорее всего, оно либо городу не шло, а потому не вызывало интереса для упоминания в книге, либо попросту было одним из тысяч названий, не несущих никакого определенного смысла.

Также незачем останавливаться на вопросе о местонахождении города. Жители, вероятно, в большинстве своем говорили по-английски или, скорее, по-французски, а может, и на иврите. Или на всех языках сразу в каком-то процентном соотношении. Трудно сказать с уверенностью. Город не был достаточно велик, чтобы в нем строить, например, оперный театр, но и не настолько он был мал, чтобы не иметь собственного университета. Пожалуй, жителей насчитывалось чуть больше миллиона.

Наш главный герой – Энтони Арт. Когда-то давно родители назвали его Антоном. Сейчас мало кто об этом помнит, а многие и не знали этого никогда. Он был самым обычным

горожанином со своими странностями и страстями, которые, конечно, часто воспринимались обывателем немного вне общепринятых традиций, но какой писатель, если он осмелился таким себя называть, стал бы ориентироваться на мнение обывателя? Особенно, если самолюбие художника, подвергающееся нападкам прессы, зачастую склонно относить к обывательскому все, что ни есть негативного вокруг него. Чтобы избежать подобных резких суждений обо всех, кто его (возможно, справедливо) критиковал, Антон никогда не читал ничего из того, что считал вторичным продуктом. Вероятно, его мнение относительно критиков и аналитиков было ошибочным, и произрастало из незалеченной юношеской категоричности. Просто это было его решение, его правило, его право, в конце концов. Никаких критиков, никаких журналистов, никаких стрессов.

– Ты действительно близорук, Антон, или тебе просто нравится носить очки в качестве аксессуара?

– Как хорошо общаться с человеком, который сам задает вопросы и сам же на них отвечает.

– Нет, я серьезно.

– Неужели? Ты – и серьезно?

– Мне кажется, когда ты не желаешь чего-то замечать, твое зрение резко ухудшается. Или ты просто снимаешь очки, демонстрируя полную беспомощность от близорукости, и уходишь в себя? Многие почему-то полагают, что если ты чего-то не видишь, то сразу же глупеешь, перестаешь понимать смысл происходящего, не можешь даже трезво оценивать ситуацию, и тогда они готовы творить безобразия прямо у тебя под носом.

– Ха-ха, Майкл, неужели ты думаешь, что дело в очках или в моей реальной или мнимой близорукости? У меня же должны быть какие-то тайные уловки. Зачем тебе о них всё знать? Они помогают мне следить за людьми, наблюдать за их повадками, пока они думают, что я безоружен, сняв очки.

– Значит, ты подстерегаешь всех окружающих исподтишка? Вечно эти твои писательские штучки.

Конечно же, Антон считал себя человеком серьезным. Жизнь его выглядела довольно невинно, обыденно и даже несколько патриархально. За исключением, может быть, хронического одиночества, не всегда увязывающегося, по мнению все тех же обывателей, с представлениями об успешности. Но это, опять же, было из области предрассудков. Вообще материя, из которой наскоро была скроена и сшита жизнь Антона, только на двадцать процентов состояла из теплых хлопка и шерсти. Остальное – одиночество.

Да, кстати, о возрасте. Хотя... Вы считаете, это имеет какое-то значение? Сам Антон, не слишком скромничая, говорил, что его возраст непросто было бы определить на глаз. Скажем так: в период славных шестидесятых, оргазмических, ошеломительных и окрыляющих, они с Майклом, как им казалось, дозрели до того, чтобы проникнуться новыми течениями, но слишком свободными и юными, чтобы попытаться осознать возможные последствия столь бурных проникновений.

По сути, Энтони Арт так и остался тем шестидесятником, сколько бы ему сейчас ни было лет. Так уж сложилось генетически, что природа сжалилась над ним, не слишком ссутив с годами, не покрыв бесконечными морщинами, не лишив мышцы эластичности, а ум – подвижности и гибкости. Что до мигрени, так с ней он дружил еще дольше, чем с Майклом. Но важнее всего было то, что в нем до зрелых лет не ослабло желание жить, отодвигать планку все дальше, все выше; что он сохранил в себе ненасытную жажду к новым знаниям, новому опыту. Поэтому, хвала Всевышнему, «исписаться», как автору, ему пока не удалось.

Книги Антона довольно успешно продавались, хотя и не были достаточно скандальными и правильно сконструированными для того, чтобы стать основой голливудского сценария или очередной фантастической библией для тинэйджеров. Писательская деятельность давала ему

возможность поддерживать средний уровень жизни – а это уже большое достижение, особенно в наш век, когда писателем себя мнит каждый, чьи тиражи растут, как на дрожжах.

Тайком, из протеста, он пытался заниматься живописью, тщетно силясь разгадать эту цепочку Бисмарка, которая тянется от замысла к воплощению.

– Художник из меня посредственный, – говаривал он, – Но сам процесс успокаивает нервы.

Нет, Антон не претендовал на то, что талантливый человек талантлив во всем. Он никогда не был доволен своей работой, и даже не был уверен в том, что одарен хоть чем-то, кроме души, бесконечно жаждущей движения и поиска. Как и миллионы других людей, надрывно и с наслаждением пел в ванной, под душем, когда никто его не слышит, даже он сам. Пробовал играть на саксофоне, шуметь в подвале на ударной установке. Когда-то в молодости приколотил по бокам от зеркальной двери шкафа перекладину и, втиснувшись в облегающие лосины, отрабатывал балетные па, опасаясь, что в любой момент зазвонит телефон, в дверь постучит сосед, почтальон или какие-нибудь бойскауты, и тогда он сторит со стыда.

– Хотя, чего тут стыдиться? – спрашивал он сам себя, глядя на свои ляжки, обтянутые дорогим трикотажем. – Это совершенно нормальное желание – попробовать в жизни как можно больше, впечатлиться новыми, неизведанными ощущениями и эмоциями.

Все, кто знали Антона хотя бы немного, без труда угадывали в нем человека неординарного, с развитым воображением и ранимой душой, часто прячущегося за легким цинизмом и незлой иронией по отношению к окружающим. Он не любил людей в массе своей, не был альтруистом, но не опускался никогда до открытого, лобового хамства, не проходил мимо того, кто нуждался в помощи. Прямоту свою или недовольство какой-то ситуацией скрашивал врожденной элегантностью, тактом, что зачастую действовало на собеседника хуже любой выволочки. Пытался нежно подшучивать над друзьями, колко, но негрубо издевался над неприятными ему личностями, а те порой были настолько глупы и самоуверенны, что откровенно ироническую критику воспринимают в качестве комплимента.

У Антона было много разных идей, он всегда пытался написать о ком-то, кроме себя, но кем бы ни были его герои, дело всегда завершалось тем, что он наделял их некоторыми своими чертами, может быть, не желая того, а может быть, как раз очень к этому стремясь.

Антону бы хотелось написать что-то о рыбаках, смелых и выносливых, о крестьянах с мозолистыми руками, о нефтяниках на гигантской платформе посреди океана, о просоленном до костей моряке или капитане-китобое с трубкой в зубах; в крайнем случае, о каком-нибудь сумасшедшем ученом, изобретателе, о вихрастом юном Эйнштейне и его колоссальной гениальности. Наверное, он сам отчасти хотел быть таким. Но, увы, он таким не был. Он мечтал написать что-то крепкое, сильное, мощное в своей простоте и правде, но писал лишь то, что писал.

## Глава Третья

Но ещё ни слова не сказано о Мишель. Опустим хронологию. Последовательность событий в данном случае не является определяющей. Ведь то, что должно случиться, так или иначе, случится, если уже не случилось, а причинно-следственные связи – это всего лишь декорация, создаваемая в соответствии с основным замыслом. Никаких «до» и «после», никаких «из-за того, что» и «потому, что». Нет фактов, потому и не нужны аргументы. Нет никого и ничего. Поэтому благородной публике остается только следить за тем, чтобы улыбка уверенности и легкого небрежения ко всем и вся не сходила у них с губ.

Но когда-то, в том пространстве, где время имело значение, развивалась некая история, у нее имелось начало, а конец совершенно затерялся.

Была Мишель. И что бы там ни говорили, какие бы доводы не приводили, Мишель стала частью той реальности, которая врастала в окружающих все больше, крепче, зафиксированная двойным машинным швом привычек, стереотипов, комфортности, постоянства. В любом случае, никто так до конца и не понял, откуда она появилась. И первым из непонявших был Майкл, казалось бы, знавший Антона лучше себя самого.

– Где вы познакомились, как? Почему я все проворонил?

– Я не знаю, Майкл. Мне кажется, мы и не знакомились вовсе, потому что давно уже друг друга знали.

– В каком смысле? Ты ее видел раньше, встречался где-то? Она из журналистов или из вашей писательской братии?

– Мне трудно вспомнить. Да ни все ли равно?

– И это говорит писатель, охотящийся всю жизнь за деталями, нюансами, тонкой психологией.

– Нет, все детали как всегда на месте. Понимаешь, она – это муза, которую я так долго призывал. Я столько лет ее ждал, что воображение до мельчайших подробностей воссоздало ее образ, внешний вид, повадки. Она всегда жила во мне, я только ждал ее прихода, ее воплощения и... ответного чувства. Поэтому нам не надо было знакомиться. Я ее сразу узнал. Хочется верить, что и она сразу меня увидела, вспомнила, поняла. Помнишь банкет после презентации моей последней книги?

– Еще бы не помнить! Я тогда кутнул от души.

– Там я ее и увидел впервые. Вернее, как позже оказалось, мы пересекались и раньше, но заметил ее я именно тогда.

– Так она была там? Почему я ничего не знал? Где были мои глаза?

– Ты был занят репортажем.

– Да, черт, вечно эта работа. Ваши праздники – это наши будни.

– А я с трудом отсидел официальную часть, только и думая о том, чтобы поскорее сбежать в ближайших бар – подальше от этих снобов.

– Что мы с успехом и осуществили. И, собственно говоря, именно это стало причиной моего почти двухдневного хм... недомогания. Но где же была она? Ты сбежал, бросил ее там, на растерзание литературным вурдалакам?

– Она все время была со мной с того момента, как мы встретились с ней глазами.

– Стоп, стоп, Антон. Я не могу уследить за цепочкой событий. Удирая с банкета, я еще был не настолько пьян, чтобы не заметить, что нас было только двое.

– Я не смогу тебе этого объяснить. Да, мы с тобой были вдвоем, но она тоже была поблизости. Постоянно.

– А, что-то припоминаю. Ты как раз говорил об идее новой книги. Но, если я не ошибаюсь, ты не собирался с нею знакомиться.

- Не собирался.
- А, ясно, ясно: ее образ отпечатался в твоём сознании и прочие глупости...
- Можно и так сказать. Но этот день мне вряд ли когда-нибудь удастся забыть.

\* \* \*

Конечно, Антон никогда не забудет этот день и это большое здание в центре города, в котором теперь обитали владельцы, сотрудники и посетители одного из самых престижных ресторанов города, где и на этот раз был заказан банкет. С некоторых пор подобные дома стало модно переоборудовать в дорогие универмаги. Неоклассицизм с замысловатой лепниной на уходящих в поднебесье потолках, хрустальные люстры, бело-серые колонны. Претенциозная эклектика. Еще в таких зданиях, например, обустраивались министерства, официальные ведомства, центральные телеграфы.

Когда Антон появился у входа, как всегда с опозданием, никакого особого ажиотажа не возникло. Публика собралась заранее и уже изрядно накачалась спиртным. Присутствующие с нетерпением ожидали прихода виновника торжества, чтобы немедленно накинуться на закуску.

Почему богема так старомодна и, не смотря на формальную столичность, так провинциальна? Почему вместо того, чтобы обойтись ненавязчивым, ни к чему не обязывающим фуршетом, нужно накрывать стол на бесчисленное количество персон? Правда, с каждым годом приглашенных становилось все меньше. Не потому что перестали приглашать – просто люди отказывались приходить. Возможно, именно это позволило организаторам устроить банкет по поводу нынешней презентации в самом дорогом ресторане, что обещало ужин поизысканнейшего прошлогоднего. Книга вышла больше месяца назад, перед Рождеством, но официальную презентацию решили отложить на февраль, чтобы пропустить праздничную суматоху, избежать очереди на заказ ресторана и не нарваться на непомерно завышенные цены. Финансовый вопрос, естественно, был определяющим. Из-за этой отсрочки создавалось ощущение, что ложки дали после обеда. Мало кто из присутствующих отчетливо понимал, по какому, собственно, поводу праздник. Антону было все равно. Будь его воля, он бы сидел дома, замышляя свой очередной опус. У него было ощущение украденного, попусту растрченного времени.

Он лениво пересчитывал сидящих за столом гостей. Их оказалось на шесть человек меньше, чем в прошлый раз, а само застолье выглядело еще более скучным, чем обычно. После второго бокала неплохого столового вина стали говорить о духе партнерства (а точнее, о законе, по которому выживает сильнейший). Говорили с наигранной возвышенностью, при этом никто даже не думал особо задерживаться в этой якобы теплой компании единомышленников. Если бы воспеваемая корпоративная дружба действительно существовала, они бы не поглядывали на часы, опасаясь опоздать на последний автобус, потому что в любой момент дня и ночи есть возможность вызвать такси.

Посещение подобных обесцвеченных, пустых сборов формально не было обязательным, просто существовал негласный закон джунглей и застарелая привычка делать вид, что мы, дескать, команда, мы вместе, один за всех и все за одного. Но принцип этот давным-давно себя изжил. Тем не менее, все последние годы руководство издательства не переставало сокрушаться, что сотрудники третьего звена представлены в меньшинстве. Ведь выход книги в свет был «нашим общим праздником»! Мало кто знал, что эти сотрудники уже поздравили Антона, принесли свои извинения; и он успел искренне им позавидовать.

Даже начальники отделов, ощущая некую ответственность перед вышестоящим руководством и показную неловкость перед находящимся на более низкой ступени персоналом, без труда находили объективные причины, чтобы не присутствовать. Персонал же, в свою очередь, даже не затруднял себя поиском причин и оправданий перед начальством.

Антон мечтал лишь о том, чтобы этот чрезвычайно важный, знаменательный и неприятно длинный день поскорее закончился.

Все было бы просто невыносимо, если бы не появилась она. Антон решил, что Мишель входила в число организаторов. Конечно, не оставалось никаких сомнений, что они были косвенно знакомы, возможно, даже представлены друг другу заочно или во время очередного официального приема, конференции, круглого стола. Работала ли она на издательство, или служила при этом адаптированном архитектурном зале с замысловатой, игривой лепниной – этого он не мог вспомнить. Другой вопрос был намного важнее: почему он раньше не встречался с ней лично, а если встречался, то почему не замечал?

А сейчас он сидел во главе п-образного стола, неловко подперев указательным пальцем начинавший пульсировать височный сосуд, вертел во второй руке пустой бокал и недоумевал, почему никто, кроме него не видит волшебности этого существа. Она летала по залу, между колоннами, от гостя к гостю, на лету давала указания официантам, не забывая при этом улыбаться. Не парила постоянно в воздухе, а как бы слегка отрывалась от пола и на мгновения повисала в длинном шаге-прыжке. Вообще-то сразу было видно, что летать она умела всегда, но откуда такая смелость – делать это публично, на глазах у всех?

Все по очереди произносили нечто невнятное в честь Антона. Между каждым тостом приглашенные замолкали, занимаясь едой. Потом самые воспитанные делали вид, что вспомнили о его новом произведении, снова говорили какие-то слова, казавшиеся Антону лишь очередным сигналом к приему пищи.

Время от времени из-за чьей-то спины появлялись глаза Мишель, будто извиняющиеся, несколько растерянные и даже стыдливо недоумевающие, словно все это с ней происходило впервые. Казалось, она вот-вот подойдет к нему, склонится к уху, щекоча кончиками волос его шею, и начнет шептать о своей давно скрываемой любви; о том, как долго собиралась с силами, готовилась, даже записывала слова, которые скажет ему; тут же проболтается, как она почти сбежала из своей горной деревушки, как сняла комнату неподалеку от издательства и так далее. Он мягко оборвет ее речь, заметит, что ей необязательно так спешить высказать именно сейчас то, что она подготовила, что на это у них теперь будет вся жизнь; возьмет ее за тонкое запястье, встанет из-за стола, они шагнут и вместе полетят над столом, к люстрам, в окно.

Эта мысль так понравилась Антону, он так с ней сроднился, что потом не мог до конца понять, было ли это его выдумкой, или так произошло на самом деле. Он всегда в тайне надеялся, что однажды все это случится – любовь, прекрасная, единственная, придет и всё ему скажет. Не что-то конкретное, нет. Это могло быть всё, что угодно, любые мелочи или глобальные рассуждения, но высказанные на определенном пределе откровенности, сплетающем, ронящем навеки. Так бывает, когда у человека на протяжении какого-то времени копились тайные мысли, их некому было доверить. Не всегда потому, что они были запретными, преступными или противоестественными, а просто из-за отсутствия прямой связи с реальными, с рациональным, с необходимым и ежедневно употребляемым. На них нельзя было купить картошки, из них невозможно было узнать свежие новости, на них не получилось бы развесить мокрое белье для сушки. Эти мысли чаще касались древней профессии философа, которая совершенно изживала себя, хотя когда-то мудрые люди воспитывали детей великих полководцев.

\* \* \*

Во многом интуиция не обманула Антона. Выбравшись из деревни, Мишель оказалась где-то очень рядом с ним. Столкнувшись один на один с многоликим мегаполисом, она не испугалась. Город не показался ей неодушевленным, бездумным механизмом. Вначале она даже самонадеянно полагала, что способна контролировать их с городом взаимное общение.

Но позже поняла, что у города есть не только душа, но и воля. Что-то похожее Мишель чувствовала в юности, когда отец возил ее к морю. Впервые войдя в воду глубокой ночью, она услышала, как море заговорило с ней, обнимая, лаская. В то же время от него исходила какая-то потенциальная угроза, предупреждение. Мишель знала – стоит сделать одну ошибку, какой-то непонятный ей самой просчет, и море тут же переменит настроение и свое к ней отношение.

Без особого труда поступив на первый курс литературного института, Мишель действительно устроилась курьером в издательство. Ее несколько настораживало, что из сотни штатных и внештатных сотрудников только десять процентов были мужчинами. Хотя это объясняло, почему многочисленные представители средств массовой информации, присутствовавшие на общественных сборищах, чаще всего были мужского пола – нейтрализовали, балансировали ситуацию и... охотились. Она понимала, что дефицит мужчин в деревне связан с тем, что большинство из них при первой же возможности уезжали поближе к цивилизации. Но Мишель недоумевала от того, что в этой до патологии феминистической компании царил непробиваемый, порой доходящий до крайностей, патриархат.

Ежедневно все дружно произносили слова приветствий, так же дружно улыбались, кивали головами и уже через секунду забывали только что услышанное.

Она спрашивала себя, что чувствовали чужие друг другу люди, вынужденные следовать привычке целования при встрече и прощании? Это действительно была открытость души, природная беззлобность или какая-то мода, привычка, извращенная деформация урбанистического сознания? Что они вообще испытывали при этом? Безразличие, отвращение? Мог ли чужак, вроде нее, позволить себе избежать этих бессмысленных знаков внимания, не будучи назван недружелюбным и замкнутым? «Хотя», – возражала она сама себе – «Возможно, именно таким, как я, это и прощается. Мол, что с нее возьмешь – деревенщина». В общем, она не сопротивлялась, не отворачивалась – целовала, а точнее прикасалась щекой к щеке, чмокая губами в воздухе, но только тех, кто первым делал встречное движение. В таком противоречивом для нее деле не очень хотелось брать инициативу на себя. Удивительно, но она не была в этом одинока. Когда во время презентации Антон не кинулся к ней с приветственными поцелуями, она смутилась и приняла этот жест, вернее, всякое отсутствие такового, на свой счет.

Где-то через полгода работы в издательстве способную и активную девочку на побегушках заметили на должность хозяйки торжеств во время проведения конференций, презентаций и других публичных мероприятий издательства. Работа была нестабильная, но прибыльная и любопытная.

Иногда, в самый разгар празднеств, ей до истерики хотелось сесть за стол вместе с гостями, выпить, съесть чего-то из местной кухни, дать передышку ногам, уставшим от каблуков.

Носясь по залу, она все же успевала наблюдать за присутствующими. Никто не придавал этому значения, считая такое пристальное внимание ее обязанностью в качестве «хозяйки».

Как-то, на одном из подобных сборищ генеральный директор, сухая высокая дама с массивным перстнем на безымянном пальце, учтиво спросила о традициях ее региона и, не дождавшись ответа, сама о них и рассказала. Оказалось, что она знает о Мишель больше, чем та о себе самой. Издалека, а точнее свысока, как обычно, виднее. Мишель кивала и улыбалась, думая, что, наверное, сложно было вообразить, что кто-то может без гордости и слепого патриотизма отзываться о земле, на которой родился, или может умалчивать детали по простой причине незнания истории своего края. Мишель знала каждый камень, каждый цветок вдоль деревенской дороги, умела перейти реку вброд, найти грибницу, понимала, о чем сплетничают цикады, знала, когда пчелы приносят больше всего меда, но не думала о том, что пишут в ученых книгах, не подозревала о традиционной поэтизации природы, потому что природа была внутри ее, была ее сутью, а не предметом для воспевания и восторгов.

В тот вечер, по привычке оглядывая стол, готовая в любой момент кинуться туда, где потребуется её помощь, Мишель показалось, что она увидела свою землячку. На самом деле это была жительница столицы в третьем поколении. Мишель же внешне не походила на представительницу своих мест, здесь все её принимали за городскую, и только услышав неизбежный, неистребимый акцент жителя горных северных провинций, признавали свою ошибку и тут же наперебой пытались угадать, откуда именно она родом.

Чуть дальше от лжеземлячки, как окаменевшая статуя, сидел автор, Энтони Арт, ради которого все это и проводилось. Мишель почему-то никак не могла забыть, что именно он не кинулся целовать ее. Антон казался ей суровым, задумчивым, иронично наблюдающим, что значительно отличало его от других, по крайней мере, в этот вечер. Он единственный не скрывал своего отношения к происходящему. Вот уже сорок минут, не меняя позы, он безучастно взирал на показное веселье, изредка поворачивая голову, чтобы тоскливо разглядывать недоступный мир за окном.

Мишель, затаившая обиду за невнимание к своей персоне, дала себе обещание, что не будет смотреть на этого человека. После чего не проходило и тридцати секунд, чтобы она на него не бросила короткий, но цепкий взгляд.

Официанты наполняли пустые бокалы минеральной водой и красным вином. Антон из протеста продолжал просить белое, хотя любил его меньше. По крайней мере, оно меньше провоцировало мигрень. Было и другое преимущество: поскольку все пили красное, его бутылка всегда оставалась рядом, другие на нее покушаться не думали, и он время от времени сам подливал себе в бокал.

Мишель часто и с удовольствием вспоминала, с какой легкостью она получила эту динамичную должность. Хотя на самом деле легкость была видимой. После работы курьером ее на какое-то время перевели в секретари, перебрасывая каждые две недели из отдела в отдел. Говорят, это была тактика издательства, что-то вроде испытания на способность к интеграции и на устойчивость к стрессам. Кроме того, это была хорошая школа, бесплатная подготовка квалифицированного, по мнению руководства, персонала, ведь одним из главных их лозунгов в отношении служащих была взаимозаменяемость. Она никогда не жаловалась, не скулила. Делала любую работу с азартом и неистовством молодости. Наконец, когда ее вернули на должность курьера, вдруг и освободилось место организатора корпоративных мероприятий. Таким образом, она вскоре познакомилась со всеми без исключения сотрудниками, с теми, кого не успела узнать во время бегов по отделам. Все они казались ей другими, непривычными. Все относились к ней по-разному, но внешне вели себя сдержанно, уважительно. Мишель была им благодарна – они научили ее изысканно лицемерить. Новая должность не дала ей психологической передышки. Она уставала врать лицом – это могло стать привычкой и для души.

Мишель замирала всякий раз, когда встречала Антона в издательстве, а случалось это нечасто. Он, как и другие, был сдержанно вежлив, смотрел пристально, но сквозь собеседника. Наверное, нужны годы тренировок, чтобы этому научиться.

Он задавал ничего не значащие вопросы:

– Вы давно работаете в этом департаменте? Нравится? – и никогда потом не дослушивал ответов.

Мишель в такие моменты вызывала в памяти обиду от холодного приема на февральском ужине, и ровным, сухим голосом отвечала:

– Да, конечно, я не обману ожиданий руководства, самое важное для меня – доверие сотрудников.

Позже ей часто говорили, что в ней действительно не ошиблись, руководство издательства было довольно. Когда-нибудь в будущем Антон тоже скажет ей об этом, но Мишель не уловит искренности в его словах. Или, возможно, ей не будут давать покоя их различия, не столько возрастные, сколько личностные, которые так разделяют и так сплачивают одновре-

менно. Контраст, взаимное дополнение, вечный конфликт противоположностей, постоянное созидательно-разрушительное противоборство.

Спустя время, имея за плечами череду ничего не значащих и ни к чему не обязывающих встреч (деловых или не очень) Мишель однажды, в день Святого Валентина, следуя сиюминутному порыву, во время обеденного перерыва купила небольшой сувенир в коробке и отправила Антону на его домашний адрес.

Конечно, она не могла видеть его реакцию, но почему-то была уверена, что эффект превзойдет все ожидания. Ей казалось, что она, не будучи близко знакомой с ним, успела узнать его гораздо лучше, чем можно было предположить, гораздо глубже, чем ему самому того хотелось бы. Мишель осознавала, что он может даже не догадаться, кто послал этот подарок, но воображение настойчиво пыталось преобразовать фантазии в реальность.

«Глупая, глупая, ангел мой, зачем ты это сделала, скажи, зачем?» – слышала она его, растроганного, – «Ты должна тратить деньги на себя! Они хоть сделали тебе скидку? Я их постоянный клиент – они должны были сделать скидку. Я тебе очень благодарен, правда. Ну, зачем ты это сделала? Просто захотела и сделала? Глупая...»

Мишель тихо улыбалась своим мыслям. Нежный, нежный Антон. Взрослый, но усиленно сопротивлявшийся своему взрослению, упрямо не желавший стареть; наивный, бесхитростный, принципиальный, отчасти сентиментальный – он тщательно скрывал эти качества, полагая, что проявление таковых – признак глупости для взрослого мужчины и свойственно только подросткам. Он как никто другой осознавал, что не может позволить себе откровенные психологические всплески. И более того – он не имел права выставлять чувства напоказ, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь не ударил его этими же чувствами по лицу. Но разве подобные движения души возможно контролировать? Опыт, возраст – ничто, когда одна «глупая девочка» вдруг в тебе что-то пробуждает.

День всех влюбленных подошел к концу, Мишель ждала звонка, понимая, что Антон никогда не позвонил бы, даже если бы знал нужный номер телефона. Он бы не позволил себе такой роскоши, боясь ошибиться, разочароваться, не желая, продемонстрировав свое расположение к постороннему человеку, тысячу раз после этого раскаяться. Антон наверняка хотел позвонить, но не позвонил.

Мишель ждала его якобы случайного появления в издательстве на следующий день, понимая, что он не придет. Он побоялся быть неправильно понятым, или, скорее всего, слишком верно понятым, потому безоружным и уязвимым. Антон наверняка хотел прийти, но не пришел.

\* \* \*

Кто бы только знал, чего стоило Антон и Майклу сбежать с того мучительного банкета. Их спас лишь тот факт, что большая часть присутствующих была изрядно пьяна. Фотографы опустили свои камеры оптикой в мраморные полы. Дамы, будучи не в силах сфокусировать плотоядные взгляды на чествующем романисте и на его не менее аппетитном приятеле-телеведущем, рассеянно блуждали вдоль стен, боясь потерять равновесие. Майкл дал отбой оператору, который, похоже, не дожидаясь указаний, давно отключился сам, снимая последние кадры на полном автопилоте. Тот счастливо плюхнулся на один из свободных стульев у разграбленного стола, прижимая видеокамеру к груди, как младенца.

Антон наконец-то вышел из анабиоза, убрал затекший палец от лица и оставив в покое бокал с остатками Божоле Нуво. Стараясь не привлекать внимания, он через кухню вышел во внутренний двор, где его уже поджидал Майкл, мусоливший губами сигарету.

Через две минуты они стояли у барной стойки в небольшом тихом кафе на параллельной улочке.

– Я начал новую книгу, Майкл.

– Да неужели? Мы же только что с банкета по поводу презентации твоей книги. Когда ты успел?

– Ну, во-первых, то, что мы... ммм... вы чествовали сегодня, я закончил уже полгода назад. Тебе ли не знать, сколько времени проходит с момента, когда рукопись отдана издателю до презентации книги. Но я говорю о другой.

– Я знал, что ты полон идей, но такая частота...

– Я начал ее только что, на этом банкете.

– Но ты еще ничего не написал.

– На бумаге – нет. Но самое важное – придумать, а потом просто зафиксировать все это в письменном виде.

– Если бы это было действительно так просто, то каждый второй был бы писателем. В том-то и проблема, что развернуть идею на четыре сотни страниц способен не каждый, по крайней мере, чтобы это было качественно, профессионально.

– Хм, ну, я уже кое-то успел записать... на салфетке. Вернее, я не могу утверждать, является ли написанное мной «кое-чем». Может, это просто что-то или нечто или вообще ничто. Не знаю, не знаю...

– И где эта салфетка?

– Майкл, да не в салфетке дело. Это произошло автоматически, просто теперь я не забуду то, что придумал.

– Кто-нибудь выудит твою салфетку из горы мусора, оставшегося после банкета, и украдет у тебя идею.

– Да брось.

В баре ни души. Они взяли по двойному виски со льдом, прошли вглубь зала и уселись за уютный маленький столик, погруженный в располагающую к откровенным беседам или молчаливым поцелуям полумглу.

– Зная тебя, боюсь даже спрашивать, о чем пойдет речь в этой твоей новой книге. Хотя, странно уже то, что ты сам завел этот разговор. Так что, может, я рискну и спрошу?

Антон, как увлеченный мыслью о предстоящем открытии микробиолог, разглядывал кубики льда, омываемые густым желтоватым напитком. Майкл не торопил его с ответом, понимая, что проявлять нетерпение в разговорах с другом нет никакого смысла. В спокойном ожидании он уставился на пальцы Антона, вращавшие стакан, подхватывавшие с его стенок холодную влагу, которая, конденсируясь, превращалась в мелкие прозрачные крупинки.

– Книга будет о любви.

Майкл смотрел на Антона, уверенный в последующем за этой фразой продолжением, но Антон и не думал добавлять что-либо к уже сказанному.

– Бог мой, Антон, вот так синопсис, просто мейн-лайн какой-то. Мне все сразу стало ясно! Хорошо, что ты не подался в критики, а то за такое обобщение после прочтения книги тебя тут же сдали бы в утиль.

Антон, прищурившись, загадочно смотрел на Майкла сквозь стакан, подняв его на уровень глаз.

– Все? Это все? Подробностей не будет? Да у тебя не было ни одной книги, в которой хотя бы вскользь речь бы не шла о любви.

Антон пожал плечами и опустил стакан на стол.

– Ну, дела. Ты влюбился? Ушам своим не верю.

Антон вцепился рукой в прилипший к столу стакан, глубоко вздохнул и задержал дыхание. Казалось, выдох уже никогда не последует.

– Почему ты не позвал ее с нами? Как ее зовут?

Антон выдохнул:

– Нет, нет, я не стану с ней знакомиться. Не хочу превратить ее в материю, в нечто физическое и потому не способное на бессмертие.

## Глава Четвертая

Влюбленные, если бы захотели, смогли бы сказать самые банальные слова так, что они возвысились бы до великих метафор. В устах влюбленного высокие категории обретают свой изначальный глобальный смысл, а не опускаются до пошлого суетного быта. Жизнь, смерть, вечность, Бог.

Возможно, в равной степени на это способен любой носитель активной, насыщенной, открытой эмоции. Любовь, ненависть, страх. Всякий, кто пережил глубокое жизненное потрясение (с отрицательным ли, положительным ли зарядом), на какое-то короткое мгновение созревает, открывает внутри самого себя новые пути к недоступной, казалось бы, истине. Познавание, как и стихи, зачастую рождается через боль – сладкую, мучительную, уничтожающую, но и созидательную в то же самое время. Каждый способен на высокое чувство, очищающее от повседневных мерзостей, заставляющее воспринимать действительность через вечные понятия.

Поэтому не нужно ругать Мишель за ее мысли, которые она высказывала порой безапелляционно, не предполагая и не ожидая в ответ ничего, кроме беспрекословного кивка головы, безмолвного согласия и смиренного обожания. Но не раболепства она ждала, нет, – никогда Мишель не полюбила бы человека, недостойного уважения, слабого духом, безвольного и бездумного. Обращения, манифесты в адрес Антона, произносимые перед зеркалом; монологи под дождем, не рассчитанные на получение ответной реакции, все же кричали о стремлении к диалогу. У Антона перед ней никаких обязательств не было: кроме несуществующей прозрачной игры, пунктирного, интригующего в своей нечеткости флирта, ничего, собственно, не происходило. При этом как будто бы что-то угадывалось, просвечивалось под калькой суеты, привычек, страхов. Но Мишель ничего не боялась, и меньше всего ее беспокоили возможные последствия.

Никогда Мишель не завидовала тому, что кто-то живет лучше нее или имеет больше. Она знала, что таких людей полно, но ее это не задевало. Мишель всегда была рада тому, что имела. «У меня свой путь – ни лучше, ни хуже, чему у других. Просто мой». Но иногда ситуация все же сшибла ее с ног. Вдруг ей начинало казаться, что кто-то живет ее жизнью, воплощая за нее самые заветные желания. И это далеко не абстрактно – дело касалось совершенно конкретных вещей, происшествий, когда невозможно избавиться от ощущения, что у тебя украли что-то очень личное. Будто бы ты десять лет писал роман, вкладывал в него всего себя, и вдруг кто-то другой издал его под своим именем.

Много лет назад, будучи стройным подростком, маленьким французским принцем-пастухом, Мишель полюбила, еще не осознавая отчетливо, на кого конкретно направлено это чувство. Она полюбила само предчувствие встречи.

После презентации Мишель ни о чем таком судьбоносном не думала, просто поняла, что наконец-то, помимо ее воли, произошло что-то очень важное. Продолжая узнавать тайны города, набираясь опыта общения, опыта лицемерия, она постепенно шла на сближение с Энтони Артом, страдая от того, что сам он стоит на месте. Он будто призывно помахивал ей рукой с того берега, но Мишель не могла к нему перебраться – паром сломался, а к тому, чтобы броситься вплавь, она не созрела. Мишель старалась не навязывать себя, чтобы все происходило немного случайно. События разворачивались как бы сами собой. Со стороны просто могло показаться, что она всего лишь очень ответственный работник, каких немного. Мишель вела себя так, чтобы за действиями ни в коем случае не было видно ее нутра – ранимого, но гордого. Работа, только работа.

Потом, не без вмешательства различных катализаторов-реактивов, ее изображение на фотоснимке реальности стало как-то укрупняться, проявляться и закрепляться, но все

так же невзначай. В длительных передышках между банкетами, Мишель работала в издательстве, разбирала, сортировала и распределяла по отделам документы и рукописи Антона, выучивая их почти наизусть. Писала сопроводительные записки к его пакетам и бандеролям – нейтральные, только по сути дела, но всегда с каким-то скрытым подтекстом. Находила для него самых лучших комментаторов. Он был доволен, хотя не понимал, откуда берутся эти, зачастую довольно знаменитые люди, если он сам палец о палец не ударил на этот счет. Мишель оставалась безликой, анонимной, вкладывая все силы в подготовку встреч с читателями, дискуссий, редких интервью, конференций.

Она тайком посещала лекции профессора Арта – одну и ту же по несколько раз, смешиваясь с многочисленной толпой студентов младших или старших курсов, бесцеремонно вваливавшихся в аудиторию. Они спрашивали, зачем ей это было нужно. Мишель уверенно твердила о желании познавать, совершенствоваться, а сама пожирала Антона глазами, мечтая о невозможном, приоткрыв от удовольствия рот и едва не забывая делать вид, что стенографирует в блокнот.

Мишель мечтала быть ученицей Энтони Арта, его помощницей, соратницей, но не чувствовала себя достаточно квалифицированной, боялась опозориться, не дотянуться до соответствующего уровня. И вот, пока она металась в сомнениях, он плодил других учеником. Они каким-то странным образом угадывали мысли Мишель и всякий раз опережали ее на два шага. Она не понимала, почему воспринимает это, как личное оскорбление, стыдилась этого чувства, боялась прямо назвать его завистью, ругала себя, но никак не могла бороться. Тогда, чтобы избавиться от угрызений совести, она решила отказаться от намеченного пути, потому что он слишком совпадал с дорогой прочих, более проворных людей вокруг. На вчерашней мечте она поставила крест, как на пустой фантазии. «Никто не посмеет уличить меня в зависти», решила она. «Придет время, и я добьюсь желаемого». Сложность заключалась лишь в том, что она не искала легких, то есть чужих, кем-то уже пройденных, проторенных путей.

Мишель собрала два чемодана книг, натянула на уши беретку и уехала в деревню, написав уже оттуда первое, довольно откровенно, где-то даже дерзкое, почти анонимное, но при желании довольно узнаваемое письмо:

«Здравствуйтесь! Здравствуйтесь, значит, будьте здоровы. Да, я желаю Вам именно здоровья.

Не удивляйтесь, пожалуйста. Я проделала определенную душевную работу, чтобы позволить себе Вам написать. Заранее прошу: не ищите в моих словах патетики – ее там нет, я к ней не стремлюсь. Говорю, как чувствую. Я знаю, это не принято во взрослом, мудром мире. Как говорится, «don't ask, don't tell». Старательно соблюдается приватность. Все понятно без слов, а если непонятно, то и ни к чему оглашать. Зрелые, воспитанные люди не выясняют отношений, не задают прямых, честных, а значит, бестактных вопросов. Как сказала главная героиня одного очень неглупого фильма: «Большинство представителей интеллигенции страдает одним ужасным пороком – страстью к выяснению отношений». Я из таких. Нет, не стану самонадеянно претендовать на причастность к интеллигенции. Просто я из тех, кто любит выяснять отношения. Это проявление эгоизма. Я осознаю это и работаю над собой.

Я очень долго размышляла и решила, не спрашивая у Вас позволения, все рассказать. Думаю, Вы имеете право знать.

Постараюсь избежать подробностей и написать только о самом главном. Это непросто. О важном вообще сложно говорить так, чтобы это не выглядело неискренностью или элементарной глупостью. Я рискну.

*Учитель.*

Не отвечаю за точность цитаты, но суть такова: «Учитель – это не только тот, кто прививает знания. В большей степени это тот, кто поселяет в души учеников любовь к знанию, стремление к знанию, жажду знаний».

Можно на механическом уровне, методом частых повторений и заучиваний запомнить массу информации из различных областей деятельности. Для меня эти знания имеют меньшую ценность, нежели те, которые приобретены человеком, стремящимся достигнуть уровня другой, более сильной личности. И только эта личность для меня может стать учителем, у которого я захочу учиться. Только человеческий фактор, как маяк, может направлять меня.

Мне повезло: я эту личность встретила. А теперь считаю своим долгом признаться, насколько важны для меня это знакомство и это общение. Хотя кто-то может заметить, что маяк не обязан видеть и замечать тех, кому он подает сигналы – он просто выполняет свое предназначение.

Знакомство с Вами – поворотный момент в моей жизни. Прежде всего, потому, что Вам удалось сделать то, в чем я вижу главную задачу учителя. Не знаю, думаете ли об этом Вы, когда читаете лекции будущим писателям. Сейчас важнее, что ваши ученики (позвольте мне отнестись к ним) в этом уверены.

### *Диалог.*

Мне всегда Вас мало. Но если бы я требовала встреч, донимала бы Вас телефонными звонками и прочее, то, к моему ужасу, наступил бы момент, когда Вам бы стало много меня.

Поэтому мне приходилось сдерживаться. Это не комплекс, не навязчивая идея, нет. Я просто живу и радуюсь жизни. В институте или в издательстве все просто, там есть лекции, работа – простейшие причины возможных пересечений с Вами. А вот летом... Нет ничего хуже летнего отпуска. Чем дольше каникулы, тем сложнее найти повод. Хотя, иногда думаешь, зачем его искать? Если очень хочешь увидеть человека, просто сделай это. Но что-то останавливает. А вдруг это опять всего лишь мой эгоизм, вдруг получится не вовремя, не к месту, вдруг я покажусь излишне навязчивой? Но даже не это пугает. Самое страшное – обнаружить, что общение со мной неинтересно и утомительно.

Именно поэтому возникает вопрос общности языка. Во всё, что бы я ни делала связанного с Вами, я пыталась вложить некое зашифрованное эмоциональное послание. Не быть машиной, от звонка и до звонка выполняющей монотонные операции, а именно заинтересовать Вас, заинтриговать и, если посчастливится, даже уловить отклик. Мне хотелось найти точки соприкосновения. Хотелось слушать, читать, смотреть, сравнивать, обобщать, делать выводы. Окунаюсь, впитываю, наполняюсь. А главное – думать, думать без остановки, пытаюсь заполнить такие ощутимые пробелы в знаниях, силясь хоть как-то дотянуться до Вас. Я делала все, чтобы как можно больше соприкоснуться с Вами. Но еще больше я делала, чтобы Вы этой связи не замечали, чтобы на поверхности был виден только ряд случайно соединившихся обстоятельств, а не моя, личная инициатива, не мое страстное желание, которые, как мне казалось, могут Вас отпугнуть или быть Вам в тягость.

Да, общее место учебы или работы открывает много возможностей, пусть даже с ограничениями, с общепринятыми правилами игры: студент – педагог, начальник – подчиненный. Летом, с одной стороны, условностей меньше, с другой – нет логически обоснованных мотивов, нет безобидных поводов, и приходится иногда открывать карты. Наверное, именно поэтому с летом у меня всегда ассоциируется это щемящее чувство

### *Ностальгия.*

Если верить словарям и относительно небольшому личному опыту, то значение этого слова не ограничивается понятием «тоски по родине». Это еще и тоска по утраченному, ушедшему. К сожалению, я очень подвержена этому состоянию. Не думаю, что переезд сам по себе ухудшает ситуацию. Порой я тоскую по людям, местам, по чувствам, которые были, но никогда не повторятся в том, прежнем виде. У каждого в жизни есть уголок в душе, ностальгия по которому будет преследовать, даже если ты уйдешь в будущее всего на два шага, на два мига.

Вопреки моему желанию, я сейчас далеко. В последний раз я видела Вас всего лишь позавчера, а уже ностальгирую. Когда я стояла неподалеку, наблюдала, как Вы уходите переулками, а из кафе все еще доносился запах только что выпитого Вами горячего шоколада, я уже тосковала, это уже была ностальгия.

Я даже рада, что не подошла к Вам, не сказала всего этого вслух. Ведь тогда не было бы этого письма, Вы бы не трогали этих листков после того, как я держала их в своих руках. Рада, что мне захотелось написать, продлив, тем самым, жизнь словам, которые просто остались бы в воздухе, случись им быть сказанными за чашкой шоколада.

Конечно, я понимаю, что нет никаких обязательств и быть их не может. И вообще, отнеситесь к этому с юмором. Наверное, *ностальгия* отступила бы, если бы у меня была возможность хоть иногда поддерживать *диалог* с тем, кого я считаю своим *учителем*.

Как бы там ни было, я больше Вас не побеспокою, но хочу сказать: чтобы думать, помнить о Вас, мне повод не нужен».

\* \* \*

Вполне вероятно, что для Антона все началось только тогда, с этого письма. Он был по-настоящему оглушен, отгонял мысль о том, что действительно знаком с автором этих строк. Был, скрежетал зубами, прикусывая до крови мякоть внутренней стороны щек. Все его существо вопило: «Это она, муза, которую ты видел во время презентации, именно с ней ты хотел улететь в окно, но даже не осмелился подойти, лишь набросав идею новой книги на салфетке». Привкус железа не давал ему спать в эту ночь. Он каждые две минуты бегал к раковине, сплевывал, ополаскивал рот. Антону хотелось раз и навсегда выплюнуть, выдавить из себя это ощущение утраченной возможности, режущее, жгущее его изнутри.

Осознание пришло. Письмо и это расстояние, вдруг возникшее между автором и музой, заставили Антона оплакивать то хрупкое счастье, которое они оба так боялись потерять, не успев найти. Все вокруг его раздражало, выбивало из колеи. Желудок самоотверженно продвигался куда-то к гортани, не принимал ничего, что бы Антон ни ел, что бы ни пил. Он перечитывал письмо, составлял бесконечные варианты ответов, не написав и не отправив ни одного. Антона больше не угнетал страх материализации мечты, он хотел жить и любить, как простой смертный.

Он узнал ее имя, где она училась, работала, деревенский адрес отца. Чуть ли не каждый день бегал на вокзал, чтобы купить билет и поехать за ней, отскрести ее от многовековых гор, вросших в уставшее тело земли, но всякий раз останавливал себя, метался, сомневался. Он так и не смог выбрать самый удачный из миллиона вариантов ответа.

А Мишель была упряма, она хотела начать с нуля, отдалиться и снова найти дорогу, ведущую к сближению. Не удалось вплотную столкнуться по работе, не вышло стать его ученицей, надо было искать что-то человеческое, эмоциональное. Мишель написала ему, заранее предполагая, каким провокационным покажется ее послание. Это была ее попытка выхода на интересный, захватывающий, длительный диалог. Похоже, план не сработал, потому что ответа не было. Она обижалась, расстраивалась, выжидала. Она пыталась придумать ему оправдания, причины его молчания: «Антон не знает, где меня искать. Он даже не подозревает, кто я

на самом деле». Сотни раз укоряла себя, что решилась на эту авантюру, рискуя потерять даже то, на что можно было надеяться раньше.

И пока она блуждала козыми тропами, ковыряла прутиком хрупкую лесную хвою, размышляя о любви и о смысле бытия, реально существующие ученики Энтони Арта просто жили и процветали. Читали, работали, учились, влюблялись, женились, рожали детей, в конце концов. А еще они были с ним рядом. Конечно, она старалась радоваться их успехам, потому что они касались профессиональных, педагогических удач Антона. Но каждый раз, когда она видела в газетах, как он по-отцовски обнимал одного из них, демонстрируя искреннее участие в его, а не в ее, Мишель, судьбе, у нее начинались приступы удушья и тоски. Никогда она даже не подозревала, что это настолько больно. «Теперь они почти его семья, а я на обочине. Я даже фантазий таких не допускала, а они не фантазируют – просто берут и осуществляют. Вот так надо строить жизнь, а не углубляться в тормозящую самокритику и самопоедание».

Она была склонна во всем винить только себя. Ведь никто из этих, как бы это сказать, конкурентов, не желал ей зла. Они и знать не знали о происходящих с ней метаморфозах, не подозревали, что она изводит себя мыслями о соприкосновении их судеб с жизнью Антона, в то время, как она прозябает в добровольной ссылке, в горной деревне, почти на краю света. Тогда она еще не понимала, каким богатством, каким счастьем она обладала там, среди этой девственной природы, способной питать безотказно своей полной жизненных соков грудью.

«Эти люди все равно никогда не поймут, что именно не дает мне покоя». Она никак не могла смириться с тем, с какой точностью кем-то реализуются мечты, когда-то принадлежавшие ей. Словно кто-то подслушивает мысленные беседы с самой собой. Интеллектуальный телепатический плагиат. Неосознанный, потому невинный. Именно тогда, впервые в жизни ей показалось, что не все идет верно, что она где-то допустила страшную и странную ошибку. Что все могло бы быть иначе. Больше не было гармонии от осознания того, что трудности – это часть пути. Именно этого баланса она в какой-то момент и лишилась. Мишель обрела себя на комплексы, основанные на убежденности в том, что свою собственную, единственную жизнь она промечтала, разменяла на пустые размышления и страхи.

«Вчера узнала, что с подачи Антона на мое место в издательстве назначена моя давняя приятельница. Ведь я настойчиво всю жизнь убеждаю себя, что лишена зависти и ревности. Но почему все это крутится именно вокруг Антона? Почему не какой-нибудь господин Икс или госпожа Игрек или еще кто-нибудь? Наверное, я в нем ошиблась. Посредственностям он благоволил больше. Даже таким, как эта моя приятельница. Или Антона просто привлекает собачья преданность? Ведь она тоже была влюблена в него. Но неужели это взаимно? Не могу поверить. Ведь это другое, ведь со мной все совсем иначе. Она – это не я. До какого отчаянного одиночества нужно дойти? Только не это, друг мой, только не это!» Не такая уж она была и плохая, по сути, – эта ее приятельница, вернее, подопечная, очередная студентка Антона. А если быть до конца честными – то и вовсе хороший она была человек. Хотя, надо сказать, она всегда вызывала в Мишель своего рода брезгливость, недоверие, снисходительность, слезливую сентиментальность, как к милой беспородной собаке, ставшей членом семьи.

Как бы там ни было, наблюдать со стороны Мишель больше не хотела. Оставив равнодушную идиллию природы, как всегда не думая, что ее ожидает, она снова отправилась в город, все еще казавшийся ей центром вселенной, но в реальности являвшийся столицей одного из провинциальных регионов небольшой, но свободной страны.

\* \* \*

– Счастье мое долгожданное, жизнь, судьба моя, – шептал Антон, ладонью прикрывая телефонную трубку, в отверстиях которой отчаянно свистел сквозняк. – Ты не представляешь себе, как я счастлив, какие чувства меня сейчас переполняют. Хотя нет, ты, с таким легко

угадываемым неумным темпераментом, наверняка чувствуешь так же сильно, как и я, если не сильнее. Как я рад, что ты вернулась, как хорошо, что август. Это лето, знойное, влажное – такое длинное. Казалось, оно растянулось на шесть месяцев вместо трех. Ты вернулась, а я уже думал, что потерял тебя, так и не успев по-настоящему найти, встретить.

– Я так боюсь разочарования, Энтони, – донеслось с противоположной стороны после длительного молчания, перемешанного с ровным, внимательным дыханием.

– Да, ты права, я старею...

– Нет, что ты говоришь! Я опасалась этой встречи, потому мы совсем друг друга не знаем. Кроме того, я окончательно одичала там, в горах.

– К чему эти страхи? Мы вдвоем очень многого добьемся. Я уверен, что ты вернулась в сто раз сильнее, светлее, темпераментнее. Моя сладкая, солнечная, искренняя, я уже тебя обожаю! Не исчезай. Прости, я не ответил на твое письмо. Так сложно, вульгарно общаться только словами. Хотелось прикосновений, рук, губ, глаз. Так хотелось твоей нежности. Не молчи же, а то я совершенно теряюсь, утону. Полюби меня, пожалуйста, сильно-сильно. Мне кажется, я умру, если с тобой что-нибудь случится. Неужели это правда, что люди с первого взгляда узнают собственную часть души, живущую в ком-то другом? Будь моей второй половиной, без тебя я какой-то неполноценный, будто ногу капканом перешибло, и она больше не моя. Как все это могло произойти за такой короткий срок?

– Срок не такой уж короткий. У моих чувств к тебе более длинная история.

– Но я ждал тебя еще дольше, почти всю жизнь.

– Не знаю, как я буду теперь здесь, в этой городской суете. Я наконец-то научилась сравнивать.

– Если хочешь, поедem туда прямо сейчас. Хочешь? Я мечтаю познакомиться с твоими друзьями детства, с твоим отцом, побывать в тех тайных местах, где ты любила прятаться девочкой, омочить ноги в холодной горной реке с каменистым дном. Наверняка там бы мои книги рождались намного быстрее и были бы намного глубже, интересней. Я постараюсь понравиться твоей родине.

– Ты ей больше будешь по душе, как раз, если не будешь стараться понравиться. Она строптивая гордячка. Я вся в нее. Не в обиду моему отцу будет сказано, но я полагаю, что моя мать в свое время согрешила с каким-нибудь неприступным утесом, у ног которого зверствует океан.

Он хотел знать о ней все. Но она... Как не хотелось, Боже, как ей не хотелось бы знакомиться с друзьями Антона! Они повсюду бы совали свой нос, любопытно, пронзительно. Именно они, гораздо раньше, чем Антон, да и сама Мишель, смогут понять, угадать, если она вдруг его разлюбит. Друзья, со свойственным только полублизким людям безразличием и хладнокровностью, умеющие трезво анализировать со стороны, на каждом углу воспевающие это свое умение – именно они быстрее влюбленных проникают в образовавшуюся вдруг трещину в отношениях. Они без труда могут заглянуть в этот зазор, затем запустить туда палец, руку, а после, упираясь плечами, разодрать едва заживший шрам мимолетной ссоры до непоправимо глубокой пропасти отчуждения. Мишель боялась друзей гораздо больше, чем врагов, хотя последних она не успела завести. Наверное, у нее еще все было впереди.

Когда-нибудь знакомство с друзьями все же произошло бы – это жизнь. Мишель знала, что может наступить момент, когда она, полагаясь на их стороннее любопытство, собственноручно допустила бы вмешательство, избавившись, тем самым, от многих проблем, от ненужных, скучных, тривиальных объяснений. Но, даже воспользовавшись этой помощью, она не перестала бы чувствовать пренебрежения, даже брезгливости к маске показной чуткости, натянутой, прилипшей, проникшей в лица друзей. Антон не знал, о чем она думала, слушая его.

– Как бы там ни было, я хочу, чтобы все самые дорогие люди из твоего прошлого, из тех времен, когда мы еще не были знакомы, увидели наше взаимное счастье и были рады ему.

Это наполнило бы мою жизнь еще большим смыслом. Если нас поддержит твоя земля, мы станем еще сильнее, чтобы вместе идти по жизни, со всеми ее сложностями, преградами, суетой и бытовыми проблемами. Мы ведь сможем, правда?

– Сможем, пока ты в это веришь.

– Майкл был удивлен моим состоянием. Не поверил. Думал, стану отнекиваться. А я серьезно так сказал, что влюбился. У меня теперь больше нет прошлого, понимаешь? Все обиды, неприятности, увлечения куда-то улетучились. Теперь у меня есть только сегодня и завтра. И все это связано с тобой. Нельзя, конечно, планировать далеко вперед, не потому что мы можем расстаться (я эту мысль даже не подпускаю к себе), просто, не все может получиться, как мы задумаем. А с другой стороны: не получится одно, так получится другое, правда? В общем, я сейчас живу планами, связанными только с тобой.

– Но твое прошлое тоже не испарилось. Твои друзья, коллеги, просто знакомые.

– Я помню о своих обязательствах. Это нормально. Думаю, что и у тебя так же. Разница лишь в том, что мы теперь вместе. Даже если мы пока не делили крышу над головой, главное – мы друг друга нашли. Ты – все мои надежды. Ты – мечта, воплощенная в реальность. Ты – моё влюбленное подсознание. Ты – трепет моего сердца. Не говори мне больше о разочаровании. Я тоже боюсь, что ты ошиблась. Но не будем думать об этом, только не сейчас. Всё будет так, как будет. Я приму тебя любую, с твоими сумасшедшими графиками, неожиданным побегам и внезапными возвращениями – по какому бы расписанию они не происходили. Тем более, к счастью, нас не разделяет непреодолимое пространство. И ты себе не представляешь, как я удивлен собственным влечением. Я – прагматик и зануда. А виной всему та наша встреча. Я понятия не имел, кто ты, но не мог отвести от тебя взгляда. Мне казалось бестактно было бы расспрашивать о тебе сидящих вокруг, но в этом и не было необходимости – я ничего еще не знал, но уже знал о тебе всё.

Наверное, я совершу еще одну непростительную ошибку, если признаюсь, что плакал всю ночь после первой нашей встречи. От счастья находки и от бессилия. Бился лбом о рабочий стол, ругая себя за трусость, потому что знал о неспособности принять данное мне счастье. Не воспринимай это как слабость, хотя, может быть, это и есть слабость. Но мне нечего стыдиться. Когда пришло твое письмо, я вдруг склонил голову, снял шляпу и мысленно встал на одно колено, смиренно сказав самому себе: это решили не мы, это решилось за нас какими-то неведомыми высшими силами. Знаешь, какая-то непонятная сладкая грусть, тоскливая радость – вот такое противоречие. Бесконечное одиночество, хотя я крайне редко бываю один и обычно очень непродолжительное время – всё вдруг пошатнулось, треснуло и разлетелось на куски. Я привык выплескивать эмоции на страницах моих книг, их бывало так много, этих эмоций, что самому становилось страшно. Поэтому я никогда не перечитываю своих книг. И вдруг это сумасшествие сошло, как гуашь после дождя, в мою реальность. Появилась ты – бесконечная, бурная, естественная, как морская стихия.

Всякий раз сердце замирает, когда думаю о тебе. Но даже если мне и бывало печально, то это светлая печаль. И свет этот шел от тебя, пусть издалека, но из самой сердцевины. Мне так хорошо было с тобой, даже если ты была далеко. Хорошо от осознания, что такие люди, как ты, все еще существуют.

Мишель, моя прекрасная, ангелоподобная, искренняя, импульсивная, нежная, настойчивая, восторженная, сладко-соленая, родная, долгожданная, спонтанная, внезапная, неожиданно возникшая! Где мы были оба все это время? В каких сумерках блуждали? Так рядом и так далеко. Так возможно и так неосуществимо.

Хочу знать о тебе всё. Или хотя бы то, что ты позволишь о себе узнать. Узнать всё и познать всю, целиком, без остатка. А дальше, дальше будь, что будет. Ведь мы сами хозяева своей воли, а значит и своего счастья. Ну, давай попытаемся, попробуем. А вдруг из этого что-

нибудь да выйдет. Ведь все случайности закономерны. И если мы не приложим все силы, всё своё желание, всё стремление, потом будем долго себя корить.

Антон не мог остановиться, он волновался, часто дышал, ему хотелось видеть лицо Мишель прямо сейчас, он жаждал встречи и понимал, что она может никогда не произойти. От такого предположения его руки стали холоднее телефонной трубки, перенявшей весь жар на себя, мозг оледеневал, и, казалось, даже мысли покрылись инеем, судорожно передавая сигналы по напряженно застывшим в ожидании нитям нервов.

Для них обоих это было так сложно и в то же время так просто. Не разрушить иллюзию, а если и разрушить, то принять реальность такой, какая она есть. Мысли повторялись, путались, переплетались, преследовали. По-настоящему еще не найдя друг друга, уже боялись потерять. Это было невыносимо.

– Приезжай же, приезжай скорее. Хочу на тебя наглядеться на тысячу лет вперед.

\* \* \*

Что-то изменилось. Сместилась какая-то ось. Мишель вернулась из деревни умиротворенной, спокойной. Антон был на пике густого опьяняющего трепета, которым он никак не мог напиться, потому что жажда оказалась безмерной, бездна емкой, ненасытной. Он хотел насытиться до изнеможения её ветреностью, напористостью, переменчивостью. Ему вдруг понравилось увлекаться и увлекать. В его жизни такого никогда не было и, скорее всего, никогда бы не случилось в будущем, если бы не Мишель. Многое было и многие – разные, – но такой, как она – никогда. Им бы двоим научиться быть избранными. Не выбирающими, но выбранными, принявшими, позволившими. Не думать о том, что кто-то кого-то балует, а просто позволять приближаться, допуская в самое личное, опасное. Но чем теснее и крепче прижмутся они душами, тем дальше убегут физически, географически, территориально. Если понадобится – за океан, на другую планету. Опыта в этом не занимать.

Но тогда нельзя им было об этом думать. Их ждала другая, молодая, нетипичная осень, они начали ее уже в августе, не пережив еще это оглушительное лето, с его открытиями и открытиями.

Потом еще не один раз будут в их жизни многолюдные проводы, расставания, командировки с бестактным фотоаппаратом. Останутся десятки альбомов, полных улыбок, слегка угадываемой сквозь них тоски, подчеркнутой дорогой косметикой. Будут звонки без конца и без пауз. Вагоны будут касаться платформ, и, каждый раз, будто впервые, не веря глазам, Антон будет с трепетом наблюдать, как Мишель, непокорная, строптивая, бежит к нему навстречу. И всего им будет мало, так мало. Недосказанное, безопасное, разреженное.

Придет календарная осень. А потом морозы, снега и прохладная отчужденность Мишель, после которой Антон навсегда разлюбит зиму. Но это будет потом, после. А сейчас они были так возвышенно счастливы, так неразумны, импульсивны и любопытны ко всему, чего не успели пережить, испытать, распробовать раньше.

Особенно он, потому что наивно полагал, что у него времени оставалось меньше. Трудно было сказать, кто прав, трудно было соглашаться или оспаривать, потому что у них все еще было впереди, пока еще только впереди.

## Глава Пятая

– Ты чудовище, Антон! Как можно забросить лучшего друга? Я устал набирать твой номер, я даже Элен просил сменить меня у аппарата, но и она, утомившись нажимать на кнопки, стала осыпать тебя и меня заодно проклятиями.

– Не лукавь, со мной этот номер у тебя не пройдет, Майкл. Элен слишком хорошо воспитана, дорогой мой. Проклятия и прочие крепкие словечки всегда были твоей прерогативой.

– Не меняй тему. Куда ты пропал, Антон?

– Понимаешь, дело в том, что Мишель...

– Я так и знал, что ты обвинишь во всем именно ее. Бедная, несчастная красавица в лапах чудовища. Не думаю, что она запрещает тебе общаться с друзьями. Вы там еще с ума друг от друга не сошли? Нехорошо. Пора счастливым возлюбленным выйти в свет.

– Меньше всего меня интересуется мнение света.

– Не хочешь представлять Мишель широкой общественности? Понимаю. Но познакомь хотя бы с друзьями, а? Или ты и в этом видишь что-то оскорбительное для вашего светлого чувства?

– Мне кажется, вы друг другу не понравитесь.

– Вот тебе на! Это еще почему? Ведь я, чего доброго, решу, что ты меня стыдишься.

– Да брось ты. Просто вы так... У вас так много общего.

– Тем более, значит, мы споемся. Или ты этого и боишься?

– Нет, сейчас еще не время, потерпи, скоро вы познакомитесь, совсем скоро.

Небольшая болонка, неожиданно быстро вытянув шнур механического поводка из рукоятки, ринулась к темной кучке непонятного происхождения, которая непозволительно вывалилась из дырявого пакета, прислоненного к мусорному баку, стоявшему у края тротуара. Хозяева болонки – милая пара средних лет, оживленно беседовавшая за секунду до этого, в синхронном, отлаженном, почти механизированном порыве бросились спасать подопечное животное.

– Можно ничего больше не знать об этих двоих, и только по одному единственному движению, по двум секундам их семейной жизни, ставшей вдруг публичной, понять очень многое, вплоть до определения точного срока супружества.

– Ты только что это придумал? Обязательно вставь в какую-нибудь из твоих очередных книг.

– Знаешь, Майкл, я пишу на каком-то странном языке, чуждом веку, в котором мы живем. Этот язык старомоден, напыщен, витиеват. В нем можно запутаться, увязнуть, так и не добравшись до сути сказанного. Истинный, универсальный язык – это музыка, живопись. Звук, цвет, запах, вкус – инстинктивные, первичные, почти анатомические составляющие, за которые можно зацепиться физиологией.

– Но слово тоже несет энергию, мысль. Его не потрогаешь рукой, но к нему можно прикоснуться разумом.

– Слово. К чему оно, если в момент произнесения смысл его понятен только тем, кто говорит по-английски, по-русски или, не знаю, по-японски? В переводчиков я, прости, не верю. А что касается мысли, то у меня, становясь прозой, изложенной на бумаге, мысль превращается в манную кашу: теоретически медики рекомендуют жевать ее, не смотря на присущую ей консистенцию, но фактически нет необходимости, и уж точно нет особого желания. Не хочется и глотать, особенно, когда крупа, еще не успев провариться, подгорает на дне кастрюли, придавая горечь, а в ложку все время попадают комки, образовавшиеся от того, что каша плохо промешана. Липкая прогорклая масса застревает между зубами, проникает в тебя против твоего желания.

– Господи, Антон, перестань. Я только что плотно поужинал. А ты так красноречив, что я забыл, что речь шла всего лишь о прозе.

– Описать нечто материальное гораздо проще, чем то, чего мы не видим глазами, к чему не можем прикоснуться.

– Но ведь и яблоко у каждого из нас может быть разным. Ты сам об этом говорил.

– Да, говорил. Хотя яблоко, скорее, одно и то же, но видим мы его по-разному. Ассоциации, которые оно может вызвать в каждом из нас – иные. Вот я и пытаюсь всю жизнь рассказывать о том, что вокруг яблока, а не о нем самом. Наверное, я что-то упускаю, наверное, все это большая ошибка, подмена тысяч понятий множеством совершенно других. Эта идея не нова, но я будто сплю. Во сне все имеет множество значений – других, не тех, что видны поверхностно. Там можно говорить какие-нибудь глупости о погоде, об утренней давке в троллейбусах, но все это будет переполнено содержанием. И чем больше стараешься уйти от конкретики, обобщить тему разговора, тем проще окружающим раскусить тебя, твои подтексты, твое чернеющее в глубине второе дно.

\* \* \*

Антон, как и все мы, видел сны. Как и у многих из нас, сны чаще отражали его действительность, и только изредка в них можно было угадать пророчество. Но вещие сны он помнил, только пока спал. Стоило ему открыть глаза, как они утекали в ночь, он тщетно силился ухватиться за них мыслью. Когда ему снилась Мишель, у нее всегда была главная, активная роль – в первую очередь, конечно, в любви. Она брала инициативу на себя. Это было всякий раз немного неожиданно, но удивительно приятно, потому что остальные дамы, посещавшие его когда-то во сне, отторгали его, презирали, избегали; он безрезультатно пытался их добиться, соблазнить, купить; становился навязчивым, похотливым, от чего мучился, страдал, жалел себя на рассвете.

С ней же все было иначе.

Он ни с кем не мог целоваться во сне. Ни с кем. Рот был словно забит желеобразной вишневого вкуса слюной. Подкатывал к горлу, вызывал рвоту. Не выносил влажных поцелуев. Почему-то во сне это особенно отвратительно. Все остальное, кроме поцелуев, всегда доводило его до пульсирующего оргазма.

И только ее он мог целовать во сне.

С ней все было иначе.

И неважно, что он идеализировал ситуацию, как один из сонма влюбленных, приписывая Мишель качества и достоинства, которыми она на самом деле не обладала. Любовь провоцировала, будоражила, подталкивала к действию, помогала разглядеть друг в друге то самое лучшее, что иногда спит где-то далеко, в дебрях. А иногда оно лежало на самом видном месте, но, как ни странно, только влюбленные обладают способностью найти нечто самое важное. Именно поэтому Мишель была самой умной, самой веселой, самой искренней, самой изобретательной, самой-самой.

В мире было много красивых, талантливых, неординарных людей – с этим нельзя было не согласиться. Но они были чужими – все эти люди. И все их достоинства были не для него, а для других, хотя он и не отрицал наличия самих этих достоинств. Для него существовала только Мишель. Он мог сказать абстрактно о ком-то: «смотри, какая красивая девушка», но это была ненужная ему красота, он говорил об этом отстраненно, как в музее – красиво и далеко. А она была такой близкой и родной, теплой и нежной, она была его собственной красивой красотой, чудесным чудом, живущим по соседству, прямо на плече. Что ему было за дело до чужой холодной красоты – он мог её только констатировать, наблюдать со стороны, но любить он был способен только Мишель.

– Только ты всегда об этом помни, – говорил он ей, – Ты – моя таблетка радости. Мой исцелитель от всех душевных недугов. У меня даже головные боли прекратились.

Всякий раз, уходя из дому, обращаясь к ней, он будто объяснял самому себе:

– Сегодня я буду совсем недоступен. Но нашему знакомству на один день больше. Я буду тебя любить издалека. Разве это расстояние? Некоторых людей разделяют океаны, годы, амбиции. Нам не стоит гневить Бога.

Мишель верила ему, молчала. Смотрела, слушала, запоминала.

Когда-то в детстве она считала, что любят не за что-то, а просто так. Но позже стала понимать, что любить за что-то гораздо приятнее. Особенно, когда есть за что.

Возможно, все ее ранние увлечения-влюбленности были сугубо односторонними. Это совсем не означает, что ее не любили, просто всё время происходили какие-то досадные несоответствия, недопонимания. Пока она прилагала усилия, чтобы добиться внимания объекта, он оставался холоден, не понимая, что она такое, кто и откуда взялась. А когда к ней воцелели, заметив некие неоспоримые достоинства, ей уже становилось скучно. Силы ушли, желание иссякло, да и то, за что, казалось, любила – позабыла.

Неожиданно для самой себя у нее появилось странное ощущение, что кто-то там, наверху, настолько высоко, что страшно даже представить, играя в кости, сделал большую ставку, не надеясь на выигрыш. И вдруг ему выпал куш. Ну, а потом, например, коршун пролетел по правую руку, и клубок стал разматываться неудержимо. Шароподобная стальная вечность поддалась настойчивости мотылька, снисходительно пошатнулась, приняв на свое неизменное тело след от миллиардного взмаха слабеющих крыльев.

Кто-то мог бы сказать, что в этом не было логики. Мишель бы попросту рассмеялась этому человеку в лицо, потом, сдержавшись, снисходительно похлопала бы его по плечу, предъявив единственный и, на ее взгляд, неоспоримый аргумент: люблю, потому что любима, но и любима потому, что люблю.

Не благодарность, не заслуга, не вознаграждение. Вовсе нет. Предназначение. Потому что даже на небесах верят в знаки. Да и как им не верить в то, что они сами посылают простым смертным?

Что-то говорило Мишель: «он именно то, что ты всегда искала». А она отвечала этому голосу: «но ведь я никогда не знала, что ищу, хотя, увидев его, сразу поняла, что это он». Не глазами увидела, но сердцем. Услышала не ушами, но душой.

Кто-то сказал, что любовь – это высшее проявление человеческого эгоизма, когда, желая обладать, готов жертвовать. «Но что же в этом плохого?» – думала Мишель – «Ведь это прекрасно и, кроме того, так романтично, а главное – звучит оправдательно». И самое замечательное, как ей казалось, что практика ежесекундно подтверждала теорию.

Постепенно они узнавали друг друга все больше, двигались наощупь, осторожно, внимательно, не упуская деталей и нюансов. Сколько застоявшегося и успешного забродить внимания они отдавали друг другу. Оно копилось в них все эти годы, и теперь у них была возможность насладиться роскошным вином. Всю эту нежность, преданность, чуткость вершители судеб плескали на них с небес волшебным дождем.

Она не находила слов. Он в силу своей профессии, был переполнен словами. Но только одно, определявшее восторг из области диафрагмы, вырывалось из Антона на поверхность, в наш овеществленный мир.

Мишель.

Ведь это ее Антон целовал по утрам, вторгаясь в сонную страну. Сон был на ее ресницах, на кончиках пальцев, в уголках губ. Он благоговейно, словно прикасаясь к божеству, принимал в себя остатки этого сна и долго-долго не раскрывал рта, боясь сделать глоток воздуха, потому что за ним неизбежно последует выдох, унося в пустоту ее тепло.

Мишель.

Она при каждой встрече баловала Антона небольшими сюрпризами, выдумками, надписями на стенах, клочками бумаги с каким-нибудь коротким признанием, которые он находил в самых неожиданных уголках квартиры. Она всякий раз встречала его трогательным подарком, но для него это было лишь приложение к основному подарку судьбы – к ней.

Мишель.

Он трепетал от того, с какой искренней серьезностью она задавала очередной вопрос, начиная его со слов, подобных этим: «Хочу сказать тебе что-то очень важное...». И он каждый раз покупался на этот трюк, холодея от трепетного ожидания.

Мишель.

Это ее невысказанные мысли он произносил вслух, как будто читая их, просто потому что ощущал ее, как себя.

Мишель.

Антон хотел бы посвятить себя ей. И когда он лежал на воде в зимнем открытом бассейне, раскинув руки, а над поверхностью оставался только овал его лица, и он не слышал ничего, кроме собственного дыхания и шума воды, тогда он не понимал – это снег летит на него с неба небесного, или он сам падает вверх.

– Как ты думаешь, когда именно я поняла, что ты – это ты?

– Не знаю... Я бы тоже не сумел точно, посекундно определить. Подсознание очень часто запаздывает с тем, чтобы подать сигнал сознанию. И вообще подает их не всем и не всегда.

– Значит, нам в этом смысле повезло больше других.

\* \* \*

– Как твоя книга, Антон?

– Ничего, Майкл, движется.

– Надеюсь, ты оставишь главных героев в живых, а то знаю я тебя.

– Если не найду ничего лучшего для них, чем жизнь, то пусть живут.

Майкл с Антоном сидели столиком в глубокой нише у окна. Деревянная поверхность была отполирована сотнями рукавов. Относительно скрытые от глаз посетителей бара, они оставались на виду у всех прохожих. Матово застекленная с трех сторон ниша выпирала на часть тротуара и, пусть и слабо, но освещалась изнутри, тогда как ближайший фонарь располагался в отдалении. С улицы не было видно лиц, но довольно отчетливо просматривались силуэты, а по жестам и позам можно было угадать характер разговора.

– Антон, я, кажется, нашел книгу, по которой хочу написать сценарий. Это какое-то чудо! Просто поверить не могу. Представляешь, где-то там, на другом конце света ходит по ночам человек, вынашивает что-то в своей кучерявой голове, выхаживает ногами по мостовой свои идеи, и вдруг, в какой-то прекрасный момент вместе со своим творчеством всплывает на поверхность. Как такое бывает, а? Ты читаешь это и понимаешь: вот оно, то, что ты искал, чего ждал так долго.

– Мои книги никогда не вдохновляли тебя, Майкл. Ты совсем в меня не веришь, приятель.

– Ты мой друг, Антон.

– А друг не может быть хорошим автором?

– Мы с тобой знакомы тысячу лет. Я знаю тебя, как свои пять пальцев, как самого себя, я не могу объективно относиться к тому, что ты пишешь. Я даже не смог бы ответить на вопрос: нравится ли мне это.

– Что же мне сделать, чтобы мой лучший друг, мнение которого для меня дорогого стоит, был объективным?

– Для этого нам нужно перестать быть друзьями. Или вернуть время вспять и сделать там, тысячу лет назад, что-то такое, чтобы никогда этими друзьями и не становиться. И вообще, Антон, напиши, наконец, это чертову книгу, и мы посмотрим, что из этого можно сделать.

– Чертову? А другого прилагательного ты подобрать не мог к моему детищу, которое я пытаюсь родить в кровавых муках?

– Ты уж для начала роди своего младенца, а его судьбу мы как-нибудь общими усилиями постараемся устроить.

– Обещаешь?

– Буду очень стараться.

– Знаешь, если бы я сам снимал фильм по этой книге, я бы пригласил Алана Рикмана на главную роль. Не знаю, как он со мной, но я с ним одной крови. Когда-то мы дышали одним воздухом свободных шестидесятых. Мне вообще кажется, что я изначально видел в этой роли его, даже не написав еще ни строчки, а только задумывая роман.

– Да, какой-то критик даже писал, что Рикман облагородил современный кинематограф.

– Именно так. Я редко соглашаюсь с критиками.

– Это уж точно. А как тебе вариант с Дирком Богардом?

– Ты ведь же даже не знаешь, что это за персонаж. Майкл. Хотя, ты прав, Богард – прекрасный вариант, просто замечательный. Но, боюсь тебя расстроить, дело в том, Майкл, что Богард пребывает в мире ином уже больше десяти лет.

– Надо же, кажется, будто еще вчера видел его у моря, на кинофестивале.

– Страшно даже подумать, Майкл, страшно даже подумать.

– Но ведь он смог бы, я угадал, правда?

– Еще как смог бы! Помнишь, когда-то наши педагоги говорили, что Жан Луи Барро и Мария Касарес подняли жанр мелодрамы до уровня искусства. Это о «Детях райка». Мне кажется, это очень верный ход: вытягивать низкий жанр из клоаки с помощью талантливых актеров, сильных личностей, привлекая их в спектакли и кинофильмы.

– Ты пишешь мелодраму?

– Прошу прощения, этот жанр, наверное, противоречит высоким стандартам твоего изысканного вкуса, но, к сожалению, выше мелодрамы мне никогда не удавалось прыгнуть. Слишком горячий лоб, с такой температурой влюбленности на что-то иное я и не претендую. Но я просто убежден на все сто, что хороший актер способен очень многое сотворить даже с текстом не слишком высокого качества, хотя, конечно, мне не хотелось бы думать так о моих книгах. Я искренне благоговею перед талантом актера, Майкл.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.